

ПРАХ



18+

Борис Умуршатын

Прах

«Автор»

2026

Умуршатын Б.

Прах / Б. Умуршатын — «Автор», 2026

В этом городе память продают в капсулах, изготовленных из праха умерших. Один вдох позволяет снова пережить самый счастливый день — и незаметно отнимает настоящее. Когда создателя препарата Артура Восса находят мёртвым, его дочь Соня возвращается домой, чтобы узнать правду. Вместе с полицейским Львом она погружается в мир, где чужое горе стало товаром, а за воспоминания убивают. Но самое страшное открытие ждёт Соню не в лаборатории, а в прошлом собственного отца.

© Умуршатын Б., 2026

© Автор, 2026

Борис Умуршатын

Прах

ПРАХ

Была одна набережная. Была вода, которая помнит всех.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ГОРОД БЕЗ ПАМЯТИ

Пролог. Набережная

Ночь. Четыре утра

Двадцать лет спустя дождь в этом городе кончился.

Восс думал об этом, стоя на набережной в четвёртом часу утра. Смешная мысль для последних минут, но человек не выбирает, о чём думать перед смертью, — он ещё не знал, что перед смертью, а если бы знал, думал бы, наверное, о том же. О дожде. О том, что раньше он падал сверху вниз и кончался, а теперь висит в воздухе серой взвесью и не кончается никогда, как всё в этом городе, который Восс сам же и отучил заканчиваться.

Он пришёл сюда не один. Он пришёл, потому что его позвали, и потому что голос, который позвал, он знал слишком хорошо, чтобы не прийти.

В руке у Восса была урна. Дешёвая, глиняная, из тех, что продают у крематория по три штуки за скидку. Он держал её обеими руками, бережно, как держат чужого ребёнка, и не помнил, чей это прах внутри, и это было самое страшное — что он, сделавший память товаром, свою собственную растерял по шепотке, вечер за вечером, лицо за лицом.

— Ты пришёл, — сказал Восс, не оборачиваясь. — Я знал, что придёшь ты. Я, кажется, всегда это знал.

Шаги за спиной остановились.

Восс не обернулся. Он смотрел на чёрную воду канала и на два фонаря, дрожащих в ней жёлтыми пятнами, и почему-то ему было спокойно. Он ждал в себе страха и не находил. Находил только огромную, ровную усталость и что-то ещё, чему двадцать лет не мог подобрать имени, а теперь подобрал. Облегчение. Ему было легко, что это кончится, и легко, что кончит именно этот человек, а не какой-нибудь Кот с пустыми глазами по приказу Демьяна. У всего должна быть симметрия. Кто начал — тот и закроет.

— Помнишь, я тебе говорил, — сказал Восс тихо, — правило одно. Смотри на то, что есть, а не на то, что хочется. Даже когда невыносимо. Особенно когда невыносимо.

Тишина за спиной была живая, тёплая. Восс чувствовал её кожей, эту знакомую тишину, — так молчал только один человек на свете, вежливо и внимательно, дослушивая до конца даже то, чего не хотел слышать.

— Ты был лучшим из всех, кто прошёл через мои руки, — сказал Восс. — Я не говорил тебе. Тебе нельзя, ты бы зазнался. — Он усмехнулся сухими губами. — Теперь можно. Теперь зазнавайся сколько хочешь.

Он услышал, как позади щёлкнул металл. Негромко, аккуратно, без злобы — так же вежливо, как всё, что делал этот человек своими тихими руками.

Восс закрыл глаза.

Ему хотелось напоследок вспомнить что-нибудь хорошее — жену, или лабораторию, где горел свет всю ночь, или тот настоящий дождь. Он потянулся памятью в прошлое, как тянутся в тёмной комнате к выключателю, — и рука прошла сквозь пустоту. Там ничего не было. Он всё истратил. Он выкурил свою жизнь по вечерам, вернул её себе столько раз, что стёр насовсем, и теперь, в последнюю минуту, когда память была нужнее всего, у него не осталось ни одного

целого воспоминания. Только край. Только паркет какого-то бала, который был не его. Только чужая женщина, поющая на кухне.

Он открыл глаза.

— Знаешь, что самое смешное, — сказал Восс, и в голосе его не было ни капли смеха. — Я хотел вернуть людям тех, кого они потеряли. А в итоге отнял у них единственное, что у человека нельзя отнять. Я думал, что отменяю смерть. — Он посмотрел на чёрную воду. — А я отменил жизнь. Она же вся из памяти и состоит. Больше не из чего.

Он помолчал.

— Не молчи хотя бы сейчас. Скажи что-нибудь. Ты же всегда договаривал до конца. Ты из тех, кто договаривает.

И человек за спиной сказал.

Одну фразу. Тихо, без ненависти, почти нежно, — ту самую фразу, которую Восс двадцать лет назад сказал спящему за столом человеку, накрыв ему плечи пиджаком, только теперь она вернулась к нему обратной стороной, как всё в этом городе возвращается обратной стороной.

Восс кивнул. Он понял. Он даже улыбнулся, потому что это было справедливо, а справедливость он ценил больше, чем жизнь, — иначе не дожил бы до неё в таком виде.

Первая пуля вошла ему под лопатку. Урна выпала, стукнула о камень и покатилась, не разбившись; серый прах высыпался тонкой струйкой и лёг на мокрые плиты.

Восс осел на колени. Он ещё был жив эту секунду и успел удивиться, как мало это больно — меньше, чем помнить.

Вторая пуля была лишней. Тихие руки не любили оставлять недоделанное.

Восс упал лицом к воде.

И последнее, что в нём погасло, — не страх и не боль. Благодарность. За то, что пришёл сам. За то, что не прислал чужого. За то, что дослушал.

Потом он вложил укатившуюся урну обратно в мёртвую руку — бережно, обеими, как держат чужого ребёнка, — сложил пальцы, как надо, и выпрямился.

А пока над каналом висела серая взвесь, которая раньше была дождём, два фонаря дрожали в чёрной воде, и человек с тихими руками уходил прочь, не оборачиваясь, унося в единственной живой голове рецепт, за который очень скоро начнут убивать по всему городу.

Он шёл ровно и спокойно. Ему предстояло вернуться домой, вымыть руки, поставить чайник на две кружки по старой привычке и к утру стать тем, кем его знал город: тихим, вежливым, преданным учеником, у которого горе.

Горе у него было настоящее.

Глава 1. Три силы

День первый. Утро

В городе Гавань было три силы, и все три в то утро завтракали.

Это важно понимать про Гавань: здесь никто не воевал натошак. Война — работа нервная, а на нервной работе главное не пропускать приёмов пищи. Об этом вам скажет любой, кто дожил в этом городе до седых волос, и таких, к слову, было немного, и седина у них была не от возраста.

А ещё это важно понимать, потому что в то самое утро, пока три силы чистили яйца и пили чай, на набережной уже остывал человек, который был важнее всех трёх, вместе взятых. Но об этом ни одна из трёх сил пока не знала. Новость о смерти Восса шла по городу медленно, вразвалку, как все дурные новости, которым торопиться некуда: адресаты всё равно никуда не денутся.

Начнём с порта.

Порт держали русские, а русских держал человек по имени Демьян.

Знакомьтесь: Демьян. Крупный, медленный, с лицом доброго дяди, который вот-вот подарит вам щенка. Щенка Демьян вам не подарит. Демьян за свою жизнь подарил людям много чего, но чаще всего он дарил им повод замолчать навсегда, и делал это с той же ласковой обстоятельностью, с какой другие дарят цветы.

Демьян сидел в глубине рыбного склада, за столом, накрытым газетой, и ел варёные яйца. Он всегда ел варёные яйца по утрам. Он считал, что яйцо — честная еда. У яйца нет второго дна. Ты его чистишь, и внутри ровно то, что обещано снаружи, и в мире Демьяна это делало яйцо надёжнее большинства людей, которых он знал.

— Знаешь, чем яйцо лучше человека? — спросил Демьян.

Напротив сидел Боро и знал. Боро слышал про яйцо и человека раз двести. Но Боро был из тех, кто даёт начальнику договорить, потому что понимал простую доковую арифметику: недослушанный начальник живёт дольше дослушанного.

— Чем, Демьян Палыч?

— Яйцо не задаёт вопросов. — Демьян посолил желток. — И не помнит, кто его сварил.

Он засмеялся собственной шутке, а потом смеяться перестал, потому что шутка вышла ближе к делу, чем он хотел. Про «не помнит» в этом городе шутить перестали года три как. Про «не помнит» тут теперь не шутили, а молились, чтобы не про тебя.

Про Демьяна надо знать одну вещь, которую не знал даже Боро. Демьян сам был на праху. Немного, для сна, чтобы вернуть один вечер, где ещё была жива его первая жена и они танцевали на кухне под радио. Демьян ходил в этот вечер, как другие ходят в церковь, и выходил оттуда с мокрыми глазами и пустой ячейкой где-то в голове, и каждый раз клялся, что в последний раз, и каждый раз это была правда — до следующего раза.

Он держал в кулаке половину города и не мог удержать один собственный вечер. Но об этом позже.

Теперь на восток.

На востоке, за каналом, в кварталах, где улицы узкие, а память длинная, сидели турки. Их называли кланом Чёрной Воды, и держал их старик по имени Хасан-ага.

Знакомьтесь: Хасан-ага. Ему было под семьдесят, и все семьдесят были написаны у него на лице, честно, без скидок. Он завтракал в бывшей мечети, у которой обвалилась половина крыши, и Хасан считал, что молиться под открытым небом даже правильнее, ведь так ближе. Ближе к кому — он не уточнял, а спросить его никто не решался. За спиной Хасана стоял Дервиш.

Про Дервиша скажем коротко, потому что и сам Дервиш говорил коротко. Точнее, никак. Дервиш был нем — не от рождения, а от одной истории, которую в квартале рассказывали шёпотом и всякий раз по-разному, и во всех версиях у кого-то в конце не было языка, и не всегда у Дервиша. Дервиш стоял за левым плечом Хасана двадцать лет и был опаснее любых слов.

Хасан-ага ненавидел прах. Ненавидел чисто, всей своей стариковской душой. Он считал, что прах — это воровство у Бога, потому что забвение и память Бог раздаёт сам, по своему счёту, а прах этот счёт подделывал.

И Хасан-ага прахом торговал. Много и успешно.

В этом не было лицемерия, во всяком случае Хасан так не считал. Он не касался праха руками. Он брал деньги за то, что прах проходил через его канал, а канал был водой, а вода ни в чём не виновата. Это была тонкая теология, и держалась она на одном гвозде, и гвоздь этот звали Керим.

— Отец, — сказал Керим в то утро, — мы дураки.

Хасан-ага не поднял глаз от чая.

— Расскажи, в чём.

— Мы возим чужое и берём копейку с рубля. А варит его один человек. — Керим наклонился. — Русские передрались бы за рецепт. Лу удавилась бы за рецепт. А мы возим бутылки и радуемся, что не касаемся. Отец, мы святые нищие. Святость я тебе оставлю. Нищету забирать не хочу.

Хасан-ага отпил чай.

— Твой брат так не говорит.

— Юсуф книжки читает. Юсуф думает, из этого города можно уехать. — Керим усмехнулся. — Из этого города, отец, уезжают только через воду и только лицом вниз.

Хасан-ага посмотрел на старшего сына долго, и в этом взгляде было больше, чем Керим прочёл. Хасан любил Керима той трудной любовью, какой любят острый нож: гордишься, что такой, и знаешь, что однажды порежешься именно об него.

Про Керима запомните. Он нам ещё дорого обойдётся.

Теперь наверх, в город чистый.

Мадам Лу держала не территорию. Мадам Лу держала желания.

Знакомьтесь: Мадам Лу. Когда-то у неё была фамилия, длинная, с приставкой, из тех, что раньше открывали двери, а теперь только протоколы. Она была из бывших, из настоящих бывших, а не из тех, кто придумал себе прабабку с балом. У Мадам Лу бал был. Мадам Лу помнила паркет того бала.

Точнее — помнила, что помнила. В этом и была её беда.

Мадам Лу продавала богатым чистый прах — не уличную серую дрянь, а очищенный, тонкий, с гарантией. Богатые не хотели вдыхать чужую смерть с грязью и хрипом. Богатые хотели вдыхать чужое счастье, аккуратно расфасованное, и Мадам Лу расфасовывала. Её салоны назывались «комнатами воспоминаний», и это был единственный эвфемизм в этом городе, который никого не обманывал и всех устраивал.

Мадам Лу сидела перед зеркалом и не завтракала. Она давно почти не ела. Она вдыхала — понемногу, чужое, светлое — и с каждым разом теряла своё, и знала это, и не могла остановиться, потому что своё было хуже. В своём была старость, и одиночество, и паркет, который уже не вспомнить целиком, только край.

Рядом стоял господин Вэй с чашкой и папкой.

— Цифры, госпожа, — сказал Вэй.

— Позже.

— Цифры плохие.

— Тем более позже. — Мадам Лу смотрела в зеркало и не узнавала половину лица. — Вэй. Кто был у меня вчера вечером? Мужчина, в сером.

Господин Вэй сделал крохотную паузу. В этой паузе поместилась вся его двойная игра, но снаружи она выглядела как почтительность.

— Никого не было, госпожа. Вы отдыхали.

Мужчина в сером был. Господин Вэй сам его проводил, чёрным ходом, и знал, зачем тот приходил, и знал, что Мадам Лу забудет, потому что она теперь забывала всё, и на этом можно было построить многое. Вэй и строил.

И была ещё одна сила — четвёртая, если считать по головам, но её как раз считать по головам было нельзя, потому что голова у неё осталась всего одна, да и та лежала сейчас на мокрых плитах набережной лицом к воде.

Это была не сила. Это был приз.

Восса убили в последнюю неделю сентября, ещё до рассвета того самого утра, когда три силы завтракали, — двумя пулями, с дешёвой урной в руке. И с этой смерти, собственно, всё и покатилося. Потому что Восс был единственный, кто знал, как делать прах. Не возить, не фасовать, не продавать. Делать. Из ничего, из серого, из смерти.

И как только город это осознает — а он осознает к обеду, — все три силы подумают одно и то же и побоятся сказать вслух: рецепт где-то есть. Записан. В сейфе, в тетради, в голове у какого-нибудь лаборанта. Найдёшь рецепт — держишь город за горло, потому что все остальные превратятся в твоих покупателей.

Никто из трёх не знал, что рецепт не записан нигде.

Что он целиком, до последней цифры, помещается в одной живой голове.

И что голова эта в тот самый час возвращалась домой по набережной, чтобы вымыть руки, поставить чайник на две кружки по старой привычке и к завтраку стать тем, кем её знал город: тихим, вежливым, преданным учеником, у которого горе.

Но и об этом — позже.

Глава 2. «Якорь»

День первый. Утро

Есть в порту кабак под названием «Якорь», и название это, как большинство названий в Гавани, врёт. Никто в «Якоре» никогда не бросал якорь. Из «Якоря», наоборот, всё утекало: деньги, зубы, изредка люди.

В то утро — то же самое утро, когда три силы завтракали, а Восс уже не завтракал никогда, — в «Якоре» сидел Гоша.

Знакомьтесь: Гоша. Кличка — Три Пальца. Пальцев у Гоши восемь, и это первое, что нужно знать про арифметику в этом городе. Второе, что нужно знать: историю про то, куда делись два, Гоша рассказывать не любил, и это был единственный случай, когда Гоша чего-то не любил рассказывать, потому что рассказывать Гоша любил всё.

Гоша был у Демьяна на исполнении. Работа простая: сходить, объяснить, если не понял — объяснить ещё раз, помедленнее. Гоша был хорош тем, что перед тем, как объяснить, долго говорил, и человек иногда за это время всё понимал сам, и обходилось без крови. Гоша считал это своим талантом. Демьян считал это болтовнёй, но платил.

Напротив Гоши сидел Кот и ковырял в тарелке.

Знакомьтесь: Кот. Молодой, злой, с той пустотой в глазах, которая у молодых иногда сходит за глубину, а на деле означает, что там просто пусто. Кот хотел выслужиться. Кот считал, что выслуживаются кровью, и был в этом городе, к несчастью, во многом прав.

— Кофе, — говорил Гоша, — это как женщина. Либо горячий и портит тебе жизнь, либо холодный и уже ушёл.

— Глубоко, — сказал Кот, который не слушал.

— Я глубокий. Меня за это Демьян держит.

— Тебя держат, потому что ты не воруеть.

— И за это. — Гоша не обиделся, обижаться было лень. — Ты молодой, ты не понимаешь. В нашем деле честность не добродетель. Честность — это когда тебя пока не поймали на обратном.

Кот пожал плечами. Ему было плевать на Гошину философию. Ему хотелось дела. Дело в тот день должно было прийти само, и Кот этого ещё не знал, а Гоша, который знал про жизнь всё, кроме одного, тоже не знал.

В «Якорь» вошёл человек в жёлтых ботинках.

Про жёлтые ботинки у Гоши была теория. Теория была длинная и, как все Гошины теории, начиналась издалека.

— Вот смотри, — оживился Гоша, кивнув на дверь. — Жёлтые ботинки. Запоминай, пацан, бесплатно учу. Жёлтые ботинки носят три вида людей. Первый — который хочет, чтоб на него смотрели. Второй — который хочет, чтоб смотрели на ботинки, а не на руки. А третий...

Человек в жёлтых ботинках подошёл к столу.

Он был чужой. Не русский, не турок, не с района. Он был ниоткуда, а «ниоткуда» в Гавани — это самый плохой адрес, потому что за человеком ниоткуда никто не придёт и никто не спросит.

— Ты Гоша? — спросил чужой.

— Смотря кто спрашивает, — сказал Гоша и улыбнулся, потому что улыбка тоже была частью работы, и потому что он собирался дорассказать про третий вид людей, и это была бы хорошая история.

— Демьян должен Мадам Лу за сентябрь, — сказал чужой. — Мадам Лу передаёт: сентябрь она прощает.

Гоша расслабился на полвыдоха. Про прощённый долг — это хорошая новость, а хорошие новости в Гавани сами не ходят, значит, есть подвох, и Гоша уже открыл рот, чтобы про подвох пошутить.

— А октябрь, — сказал чужой, — она забирает вперёд.

И выстрелил Гоше в грудь. Дважды. Буднично, без замаха в голосе, будто ставил галочки в списке дел, где Гоша был вторым пунктом сверху, и до обеда оставалось ещё три.

Гоша не упал сразу. Он сидел ещё секунду, удивлённый, потому что не успел дорассказать, и это его обидело больше, чем две дырки в груди. Он посмотрел на Кота — не с ужасом, а с досадой, как смотрят, когда официант унёс тарелку недоеденной. Потом свет в нём выключили, и Гоша сполз по стене, оставив на ней мокрую тёмную полосу, и осел на пол мешком.

Кот не двигался. Кот смотрел на восемь Гошиных пальцев, лежавших на грязном полу, и думал одну-единственную мысль, глупую и ясную: теперь ноль, а кличку менять поздно.

Человек в жёлтых ботинках убрал пистолет и оглядел зал. Зал старательно смотрел в свои тарелки. В Гавани умели вовремя не видеть — это был главный местный навык, важнее умения драться.

— Передашь Демьяну, — сказал чужой Коту. — Мадам Лу берёт октябрь вперёд. И ноябрь. И всё, что после. Пока не отдаст рецепт.

— У Демьяна нет рецепта, — сказал Кот, и голос его дёрнулся.

— Это, — сказал человек в жёлтых ботинках, — Демьяна проблема. А твоя проблема сейчас — донести ноги до Демьяна и не запачкать. — Он посмотрел на Гошину лужу, растекавшуюся к Котовым ботинкам. — Хотя поздно.

Он вышел, и жёлтые ботинки в дверях мигнули последний раз и пропали в сером свете улицы.

Кот сидел ещё долго. Потом встал, обошёл лужу, присел над Гошей и зачем-то поправил ему воротник, аккуратно, как живому. Гоша так и не дорассказал про третий вид людей в жёлтых ботинках. И теперь уже никто в этом городе не узнает, кто их носит.

Хотя Кот, если подумать, только что узнал.

Вот что интересно про этот день. Ещё не было и полудня, а в Гавани уже лежали двое: великий человек на набережной и болтливый человек в кабаке, и оба — из-за одного и того же рецепта, которого ни у того, ни у другого никогда не было. Великого убили за то, что он рецепт придумал. Болтливого — за то, что служил тому, у кого рецепта нет. А настоящий рецепт в это время спокойно пил кофе из одной из двух кружек и слушал по радио сводку о том, что в городе опять неспокойно.

Кот этого, конечно, не знал. Кот знал только, что война началась не между русскими и турками, как все ждали, а сбоку, тихо, — от женщины, которая продаёт чужое счастье и теряет своё.

И это, как выяснится позже, был ещё самый добрый день из тех одиннадцати.

Глава 3. Тело

День второй. Утро

Восса нашли только на вторые сутки, и виновата в этом была, как обычно, вода.

Набережную у старого канала не патрулировал никто. Официально она относилась к порту, то есть к Демьяну, а неофициально — к тем немногим, кому больше некуда пойти в четыре утра, а таких в Гавани хватало, и все они умели вовремя не видеть. Тело пролежало сутки с лишним, пока его не заметил мальчишка, собиравший бутылки, и мальчишка сначала обрадовался урне — думал, целая, можно продать, — а потом разглядел, в чьих она руках, и бутылки бросил, и урну бросил, и с тех пор бутылки в этом городе собирал уже другой мальчишка.

Знакомьтесь: Лев.

Впрочем, знакомиться с Львом было делом неблагодарным. Лев не пускал к себе. Он был из тех следователей, что вымерли в Гавани лет пятнадцать назад, — не потому что честные, честных ещё встречалось штучно, а потому что упрямые. Честный в этом городе долго не живёт, а упрямый живёт назло, и это, если разобраться, единственный способ.

Лев стоял над телом и молчал. Он всегда молчал первые пять минут на месте. Он считал, что мёртвому надо дать сказать первым.

— Ну, что он тебе рассказывает? — спросила Марта.

Знакомьтесь: Марта. Напарница. Если Лев верил, что мёртвый говорит первым, то Марта верила, что мёртвый уже всё равно ничего не изменит, а значит, можно спокойно пить кофе. Кофе она держала в руке и над телом — что характеризовало её точнее любого личного дела.

— Он говорит, — сказал Лев, — что не сопротивлялся.

— Может, спал.

— Стоя, лицом к воде, с урной в обнимку?

— Люди по-разному спят. — Марта отпила кофе. — Я вон вообще с открытыми глазами на планёрках.

Лев присел на корточки. Две пули в спину, обе в упор — стрелок стоял позади, близко, вплотную. Восс не бежал. Восс не поворачивался. Восс стоял и ждал, и Лев чувствовал это стояние всей кожей, и оно ему очень не нравилось, потому что так стоят не перед грабителем. Так стоят перед своим.

— Знаешь, кто это? — спросила Марта.

— Знаю. Весь город знает. — Лев смотрел на урну. — Это человек, который придумал прах.

Марта присвистнула. Кофе она, впрочем, пить не перестала — в Гавани и не такое не мешало пить кофе.

— Тогда очередь из желающих должна быть отсюда до порта, — сказала она. — Русские, турки, Лу, каждый второй вдовец, каждый первый сирота. Лев, у этого трупа мотивов больше, чем у меня долгов. Мы такое не раскроем, мы такое закроем.

— Это разные вещи?

— В нашем городе — впервые слышу, чтоб одинаковые.

Лев её не слушал. Лев смотрел на руки.

Урна лежала в ладонях Восса ровно. Слишком ровно. Человек, которого стреляют в спину, роняет всё, что держит, — это рефлекс, это раньше сознания. Восс должен был выронить урну, и она должна была разбиться или откатиться, а прах — рассыпаться под ним, смешаться с кровью. Но урна лежала в руках аккуратно, обеими, бережно — как держат чужого ребёнка. И прах внутри был на месте. Кто-то её подобрал. Кто-то вложил её обратно в мёртвые пальцы и сложил их, как надо, — уже потом, когда всё было кончено.

— Марта.

— М?

— Он её не держал, когда падал. Ему её вложили.

Марта наконец перестала пить кофе.

Она подошла, присела рядом, посмотрела — и Лев увидел, как в ней на секунду проснулся тот следователь, которого она в себе давно споила цинизмом, чтобы не так больно было работать в этом городе. Проснулся и тут же снова притворился спящим, но Лев успел его заметить.

— Красиво, — сказала Марта тихо. — Гад какой. Убил и ещё картинку выставил. Создатель праха — с прахом в руках. Прямо посмертный слоган.

— Это не картинка для нас, — сказал Лев. — Мы бы и так поняли, что это он. Это картинка для города. Чтоб город посмотрел и сказал: красиво. И успокоился. И не искал дальше.

— И город скажет.

— Город уже говорит. — Лев встал, колени хрустнули. — Слышишь? Полдня прошло, а на рынке уже версия: сам себя. Ушёл красиво, с прахом любимого человека, не выдержал совести. Через два дня это будет правдой. Через неделю в это будут верить те, кто сам видел дырки в спине.

Марта поднялась следом.

— Ну а по-твоему?

— По-моему, — сказал Лев, — его убил тот, кого он ждал. Кого впустил к себе за спину на пустой набережной в четыре утра. У такого человека, Марта, врагов, может, и полгорода. А вот тех, за спину которых он встанет сам, — таких один-два. — Он натянул воротник. — Вот их и будем искать. Не тех, кто его ненавидел. Тех, кого он любил.

Марта посмотрела на него поверх стаканчика.

— Знаешь, в чём твоя беда, Лев? Ты ищешь в людях любовь. В Гавани. Это как искать сухое место под дождём, который не кончается.

— Дождь кончился, — сказал Лев. — Второй год как. Только никто не заметил.

Он пошёл к машине. Марта постояла ещё, глядя на человека, который придумал прах и лежал теперь лицом к воде с чужой памятью в сложенных ладонях. Потом допила кофе, поставила пустой стакан рядом с телом — не со зла, а просто некуда было, — и пошла за Львом.

Стакан остался стоять у самой урны. Два сосуда, пустой и полный, у ног человека, который отучил город помнить и первым же всё забыл.

Никто из них двоих ещё не знал, что человек, которого они ищут, — тот единственный, за спину которого Восс встал сам, — в этот самый час сидит напротив дочери убитого, наливает ей чай во вторую щербатую кружку и говорит ей тихим, добрым, вздрагивающим от горя голосом, как сильно её отец её любил.

И это, между прочим, чистая правда. Восс её любил. Именно поэтому всё кончится так, как кончится.

Глава 4. Дочь

День второй. Вечер — день третий

Соня приехала вечерним, и город встретил её тем, чем встречал всех, — серой взвесью, которая когда-то была дождём.

Знакомьтесь: Соня. Хотя с ней и знакомиться не надо — вы её уже знаете, если у вас когда-нибудь умирал кто-то, кого вы не успели ни толком полюбить, ни толком простить. Соня не видела отца семь лет. За семь лет накопилось много слов, из тех, что копишь, чтобы однажды сказать в лицо, — а лицо взяли и убрали, и слова теперь некуда девать, они лежат в тебе мёртвым грузом, и это отдельная, тихая, никому не видная беда, которая хуже самого горя, потому что у неё нет даже названия.

Про эти семь лет надо сказать отдельно, потому что без них не понять, зачем Соня вообще приехала и почему приехала одна.

Она ушла от отца сама. В семнадцать. Не хлопнув дверью — хуже: тихо, как уходят, когда разлюбили. До семнадцати она отца обожала — он был доктор, он спасал память, к нему приходили благодарные, он гладил Соню по голове рукой, пахнувшей чем-то химическим и

важным. А в семнадцать она узнала, чем эта рука пахнет на самом деле. Не спрашивайте как — в таких городах дети узнают всё, вопрос только когда. Соня узнала, что «спасать память» и «торговать памятью мёртвых» — это, оказывается, одно и то же ремесло, просто с разных концов, и что благодарные приходят не за лекарством, а за дозой, и что отец не доктор. Отец — барон.

Она не устроила сцены. Она была не из тех. Она просто собрала сумку и сказала ему единственную фразу, которую он потом носил в себе девять лет, — Артур однажды обмолвится, что Восс повторял её во сне: «Ты вынимаешь из людей лучший день. А я в тебе разглядела худший. И тоже теперь не забуду». И уехала. И не отвечала. Семь лет.

А теперь про мать — потому что мать всё это время была рядом, и мать тоже сыграла свою роль, только позже и иначе.

Мать умерла за год до всего этого. Обыкновенно, не от праха — прах она в дом не пускала, ненавидела люто, была в этом даже яростнее дочери. Она угасала долго, тяжело, той самой болезнью, что выедает сначала числа, потом лица, потом тебя. И под конец мать не узнавала Соню. Смотрела вежливо и спрашивала, не приходил ли доктор.

И вот здесь Соня — двадцати двух лет, одна, у постели забывающей её матери, в городе, где на каждом углу шептали «есть способ, дать ей вдохнуть чужой покой, чтоб не мучилась, чтоб улыбалась», — Соня сказала нет.

Она не взяла ни флакона. Она досидела так. Отвечала на «кто вы?» — «я та, кто вас любит», по сто раз на дню, заново каждый раз, потому что для матери это было впервые каждый раз. Она полюбила мать заново столько раз, сколько мать успела её забыть. И похоронила — целую, свою, забывшую, но настоящую. Не подменённую чужой открыткой.

Соня не знала тогда, что в другом конце города точно так же, много лет назад, у другой постели сидел немолодой следователь по фамилии Лев и делал ровно тот же выбор. Они не были знакомы. Они и не познакомятся толком. Но они были одной породы — той редкой, вымирающей в этом городе породы, что держит своё горе целым, а не меняет на сладкое. И финал этой книги, если совсем честно, решится именно тем, что Соня — этой породы. Просто мы узнаем об этом только на набережной.

А ехала она к отцу — мириться.

Вот что горше всего, и вот чего она не успела. Похоронив мать и просидев с её угасанием целый год, Соня поняла отца. Впервые. Она сама подержала на руках забывающего тебя человека, сама услышала внутри тот самый шёпот — «верни хоть день», — и сама узнала, до дрожи, как это страшно соблазнительно и как легко из любви шагнуть за край. Она устояла. Но она поняла, каково было ему — там, девять лет назад, у постели его матери, откуда всё и пошло. И она ехала сказать ему: «Я поняла тебя, папа. Я тебя больше не сужу. Мы одной породы, ты просто не устоял, а я устояла, но я знаю теперь, что это одна и та же любовь».

Она везла ему это через семь лет молчания.

Опоздала на семь дней.

И теперь несла несказанное в себе — то самое, без всякого праха: слова, скопленные для живого, которые некуда девать, потому что живого убрали. Это и была её собственная урна, которую никто не вложит ей в руки и не выставит городу на обозрение. Она приехала в Гавань уже полная — полная того, что не успела. И оттого была так беззащитна перед первым же человеком, который на вокзале молча взял у неё сумку.

На вокзале её встречал человек, которого она не знала.

— Соня? — сказал он. — Я Артур. Я работал с вашим отцом.

Знакомьтесь: Артур.

Хотя нет. С Артуром мы уже знакомы. Мы стояли с ним на набережной позапрошлой ночью, за спиной у Восса. Мы слышали его тихую вежливую тишину. Мы видели его руки.

Соня — не видела. Соня видела усталого мужчину лет сорока, в сером пальто, с добрым лицом, на котором горе лежало ровно и достоверно, как лежит только настоящее. Он не бросился к ней, не стал обнимать чужого человека, не сыграл ни одной ноты фальши. Он просто взял её сумку — молча, само собой, как берут сумку у уставшего родного человека, — и это простое движение сделало больше, чем сделали бы любые соболезнования.

— Спасибо, — сказала Соня и заплакала. Не от горя даже — от того, что кто-то взял сумку.

Артур не утешал. Он из тех, кто понимает, что утешать плачущего — всё равно что будить спящего: делаешь только хуже и только ради себя. Он подождал. Он умел ждать, этот человек, — мы видели, как хорошо он умеет ждать, стоя за спиной.

— Он вас любил, — сказал Артур, когда она затихла. — Я знаю, вы не виделись. Он говорил. Он думал, это его вина. Он был из тех, кто всё сваливает на себя, даже чужой дождь.

Соня подняла на него мокрые глаза.

— Он так говорил? Про дождь?

— Он много так говорил. — Артур чуть улыбнулся, одними глазами, горько. — Ваш отец был великий зануда, Соня. В хорошем смысле. Он мог три часа объяснять, почему нельзя доверять красивым результатам. «Смотри на то, что есть, — говорил, — а не на то, что хочется». Он это повторял, как молитву. Довёл меня этим до белого каления лет за пятнадцать.

И засмеялся — коротко, и тут же осёкся, будто засмеяться сейчас было предательством. И в этом осекшемся смехе было столько живого, столько подлинной, ноющей любви к покойному, что Соня поверила ему сразу и вся, до дна, — а как не поверить человеку, который любит твоего отца теми же смешными подробностями, какими когда-то раздражался ты сам.

Мы-то с вами знаем, что и это правда. Он действительно любил Восса. Он действительно доведён был этой фразой до белого каления. Он действительно повторит её потом сам, у воды, за секунду до.

В том и ужас, что он ни разу не соврёт ей за всю книгу.

Ему и не придётся.

Артур отвёз её в институт — туда, где Восс работал и жил последние годы, в старое здание с высокими окнами, где по ночам когда-то горел свет. Теперь свет не горел. Артур открыл своим ключом, привычно, и Соня отметила это — что у него ключ, — и не придавала значения, потому что чему тут придавать: помощник, доверенное лицо, разумеется, ключ.

Внутри пахло отцом. Табаком, которого он не курил уже двадцать лет, но запах вьелся; старой бумагой; ещё чем-то неуловимым, детским, из тех запахов, что живут не в носу, а прямо в горле. Соня остановилась в дверях и не смогла войти.

Артур прошёл на кухню. Поставил чайник.

Достал две кружки.

Соня этого не видела — она стояла спиной, в прихожей, собираясь с силами. Она не видела, как Артур на секунду замер с двумя кружками в руках. Как посмотрел на них. Как одна из них была щербатая, с отбитым краем, — его, он всегда брал щербатую, оставляя целую училею, пятнадцать лет, каждое утро. Теперь целую брать было некому. Артур подержал целую кружку в руке, поставил обратно в шкаф и достал вместо неё другую щербатую — нашёл, специально, будто искал, — чтобы у Сони тоже была щербатая. Чтобы они были на равных. Чтобы никто в этом доме больше не пил из целой.

Это была самая нежная вещь, которую он сделал за всю неделю. И самая страшная. Но об этом некому было знать.

— Чай, — сказал он вслух, обычным голосом.

Соня наконец вошла.

Они сидели на кухне до глубокой ночи, и Артур рассказывал ей отца — не мёртвого, а живого: как тот путал имена сотрудников и обижался, когда поправляли; как ненавидел теле-

фон; как однажды двое суток не выходил из лаборатории, а на третий вышел, сияющий, и оказалось, что он всё это время чинил не эксперимент, а кофеварку. Соня смеялась и плакала, иногда одновременно, и впервые за семь лет отец у неё был — живой, тёплый, смешной, — и подарил ей его убийца.

— Оставайтесь здесь, — сказал Артур под утро. — В гостинице вам будет одиноко. Тут хотя бы... — он не договорил. Он был из тех, кто не всегда договаривает вслух то, что и так ясно.

Хотя нет. Мы же помним. Он как раз из тех, кто договаривает.

Просто не всё и не всем.

— А вы? — спросила Соня.

— А я найду того, кто это сделал, — сказал Артур тихо, и голос у него не дрогнул, и глаза не дрогнули, и руки, наливавшие ей последний чай, не дрогнули тоже. — Обещаю вам, Соня. Кто бы это ни был. Я его найду.

И это, дорогой читатель, было единственное обещание за всю книгу, которое Артур сдержит буквально, до последней буквы.

Он ведь уже нашёл.

Он просто ещё не решил, что с найденным делать.

Интерлюдия. Пуля

Собака

Знакомьтесь — хотя нет, не будем. У этого человека была кличка, но он её уже не помнит, а имя не помнит тем более, так что знакомить вас не с кем. Назовём его Дилер, раз уж работа пережила в нём всё остальное.

Дилер торговал прахом четыре года и был в этом хорош. Он знал главное правило профессии, золотое, выведенное кровью предшественников: не пробуй товар. Он вешал это правило на всех новичков, он повторял его, как Восс повторял своё, — не пробуй товар, не пробуй товар, — и сам не пробовал, честно, долго, дольше многих.

А потом у него умерла собака.

Не жена, не мать, не ребёнок — собака. Дворняга по кличке Пуля, рыжая, глупая, единственное существо в Гавани, которое встречало его у двери и не спрашивало, где деньги. И когда Пуля умерла, Дилер впервые в жизни подумал, что правило, в общем, придумано для слабых, а он-то сильный, он-то на минуточку, он-то знает меру.

Он вдохнул один вечер. Тот, где Пуля ещё щенком грызла его ботинок — жёлтый, к слову, ботинок, но это уже неважно и совсем другая история.

Мера у него была. Честно. Первые дни.

Через неделю он вдыхал Пулю по три раза на дню и продавал уже с недовесом, потому что часть товара уходила на Пулю. Через две — путал покупателей. Через месяц один покупатель, которому он недовесил особенно щедро, объяснил ему разницу между «знать меру» и «знать» вообще — коротко, ножом, деловито.

Дилер выжил. Дилер вообще везучий. Он и сейчас где-то в порту, живой, сидит на ящиках и всем встречным рассказывает про рыжего щенка, который грыз ботинок, — подробно, тепло, с любовью. Только он давно уже не помнит, что щенка звали Пуля. И что щенок был его. Он думает, это чужой день, купленный по дешёвке. Он даже не знает, что оплакивает собственную собаку.

Так дешевле всего и обходится память — когда ты платишь за неё как за чужую.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. КАК ЭТО НАЧАЛОСЬ

Глава 5. Ошибка

Флешбек. Одиннадцать лет назад

Прах открыли по ошибке, и это, пожалуй, единственное, что в этой истории справедливо. Такие вещи и должны открываться по ошибке. Ни один нормальный человек, будучи в здравом уме и твёрдой памяти, не пошёл бы искать способ вдыхать чужую память нарочно. До этого можно только доехать случайно, не туда свернув, — и потом всю жизнь объяснять себе, что искал совсем другое.

Восс искал другое.

Знакомьтесь ещё раз с Воссом — тем, живым, за одиннадцать лет до набережной. Он совсем другой. У него есть будущее, и он в нём уверен, и от этого лицо у него открытое, почти глупое в своей вере, — так выглядят только те, кто ещё не сделал того самого, после чего лица становятся закрытыми навсегда.

Восс искал лекарство от забвения.

У него была на то причина, и причину звали не наукой. Восса подтолкнула к делу собственная мать, которая к тому времени уже полгода не помнила его имени и звала сына именем брата, умершего в детстве. Восс приходил к ней, а она гладила его по щеке и говорила: «Костенька, ты вырос», — и Восс отзывался на Костеньку, потому что спорить с этим было жестоко, и уходил, и в машине сидел, вцепившись в руль, и не мог тронуться минут по двадцать. Он хотел вернуть матери её память. Только это. Всё остальное вышло само.

В лаборатории с ним работали трое, но нам важен один — Артур. Молодой, тихий, дотошный до занудства, тот самый ученик, что оставался ночевать на раскладушке между стеллажами, потому что ехать домой было незачем и не к кому. Восс в нём души не чаял и виду не подавал, потому что был из тех учителей, которые считают, что похвала портит ученика вернее, чем брань.

А теперь — про ошибку. Про ту самую.

У них был образец. Ткань мозга умершего лаборанта — старого Тобиаса, который завещал своё тело институту, потому что больше ему завещать было нечего и некому.

Запомните это имя. Тобиас. Оно ещё вернётся, и не так, как вам хотелось бы.

Восс работал с образцом, пытаясь замерить, как распадаются после смерти те тонкие структуры, в которых, как он думал, и живёт память. И вот тут Артур ошибся в дозировке реагента. На порядок. Простая описка в журнале, запятая не там, — и раствор вышел в десять раз концентрированнее, чем полагалось.

По-хорошему, образец должен был просто сгореть.

Он не сгорел. Он — ожил. Не весь, конечно. Ожила крохотная его часть, на несколько секунд, испустив то, что приборы записали как всплеск, а Восс, склонившийся над установкой, ощутил как — запах.

Он потом не мог этого объяснить никому, включая себя. Он вдохнул случайно поднявшийся над раствором дымок — и на три секунды перестал быть собой. Он оказался в чужом воскресенье. В чужой кухне, где немолодая женщина резала яблоки на пирог, и пахло корицей, и в окне было лето, и кто-то смеялся в соседней комнате. Это было воскресенье старого Тобиаса, одно из тех, ради которых, в общем, и живут, — и оно было настолько живым, настолько подробным, с этой вот корицей и этим вот светом, что Восс отшатнулся от установки и сел прямо на пол, и Артур бросился к нему, решив, что учителю плохо.

— Мне не плохо, — сказал Восс с пола, и лицо у него было такое, что Артур запомнил его на всю жизнь. — Артур. Мне только что было хорошо. По-настоящему. Первый раз за год. — Он поднял на ученика глаза, и в них стоял восторг напополам с ужасом, и в этой пропорции они там и остались навсегда. — Это был не мой пирог, Артур. Не моя кухня. Я вдохнул чужой день. Понимаешь? Он умер. А день — остался. День можно достать.

Артур понял. В том-то и беда, что Артур всё всегда понимал сразу.

— Это можно повторить, — сказал Артур тихо.

— Это можно повторить, — эхом отозвался Восс.

И оба замолчали, и в этом молчании двух хороших, умных, добрых людей уже сидело, свернувшись, всё, что случится потом: и Мадам Лу перед зеркалом, и Демьян с его вечером на кухне, и очереди у «комнат воспоминаний», и серый прах на мокрых плитах набережной, и урна, вложенная в мёртвую руку. Всё это уже было — там, в тёплой ночной лаборатории, где горел свет, — просто ещё не разложилось во времени.

Знаете, что самое горькое?

В ту ночь они не думали про деньги. Клянусь вам, ни один из них. Они думали про мать Восса, которая звала его Костенькой. Они думали, что теперь смогут вернуть ей её же собственные дни — не чужие, свои, — что она снова узнает сына, пусть на три секунды, пусть на минуту. Они плакали и обнимались среди стеллажей, учитель и ученик, два дурака, спасшие человечество, — и человечество им это ещё припомнит.

Они попробовали на матери Восса первой.

Но это уже другой флешбек, и до него мы ещё дойдём, и я предупреждаю сразу: он вам не понравится.

А пока запомните эту ночь такой. Тёплой. Со светом в высоких окнах. С двумя хорошими людьми, которые всё сделали из любви.

Из любви в этом городе, к слову, сделано вообще почти всё. Оглянитесь. Все главные ужасы Гавани начинались ровно вот так — с кого-то, кто просто очень сильно кого-то любил и не хотел отпускать.

Восс не захотел отпустить мать.

Через одиннадцать лет Артур не захочет отпустить Восса.

Круг, как видите, ровный. В хороших историях он всегда ровный, а эта, при всём ужасе, — хорошая.

Интерлюдия. Первый клиент

Одиннадцать лет назад

У всякой чумы есть нулевой больной — тот, с кого пошло. Историю пишут про королей и генералов, а надо бы про нулевых больных, потому что именно они, а не короли, поворачивают реки. Так вот, у нашей чумы он тоже был. И я вам его покажу, хотя показывать особо нечего: маленький человек, каких Гавань производит тоннами и не считает.

Его звали Пранас. Он чинил часы.

Запомните эту деталь, потому что она — вся ирония разом: первым человеком, купившим у Восса чужой день, был часовщик. Тот, чьё ремесло — заставлять время идти ровно и честно, тик за тиком, не пропуская ни секунды. Он первым в Гавани заплатил за то, чтобы время соврало.

Дело было так. Восс тогда ещё не был бароном — мы помним, барон родится позже, на второй вдове. Восс был растерянный доктор с гениальной ошибкой на руках и с институтом, которому нечем платить за свет. Метод работал, а денег не было, и Восс, честный человек, мучился: он сделал нечто огромное и не знал, куда это девать. Прах лежал, воскресенья и понедельники чужих людей пылились на полках, никому не нужные, потому что мёртвым они уже ни к чему, а живым ещё не пришло в голову, что чужой день можно купить.

Первым пришло в голову часовщику. Сам пришёл. Прослышал — в Гавани всё прослышивают, — что в институте творят диковину, будто оживляют мёртвые дни. И явился, робкий, с шапкой в руках, и попросил не воскресенья с корицей. Он попросил конкретное.

— Доктор, — сказал Пранас. — У вас там... разные дни есть. От разных людей. А нет ли — снежного?

— Какого? — не понял Восс.

— Снежного. Чтоб снег шёл. Настоящий, белый, сверху. — Часовщик смотрел в пол. — Я, понимаете, снега не видел ни разу. Тут же дождь. Всю жизнь дождь. А я старый уже. И так, знаете, помереть, ни разу снега не увидев... обидно. Вот я и подумал — может, у вас на

полке чей-нибудь снежный день завалился. Я бы вдохнул разок. Посмотрел бы, какой он. И всё. Больше не надо.

И Восс — вот эта секунда, дорогой читатель, вот она, поворот реки, — Восс полез на полку.

Он мог отказать. Он мог сказать «это опытный образец, это не продаётся, идите, дед, с богом». Он не сказал. Потому что просьба была маленькая и человеческая до слёз — старик, всю жизнь под дождём, хочет один раз снег, — и Воссу, который сам мечтал вернуть матери один день, эта просьба легла точно на больное. Как отказать? Это же милосердие — дать человеку снег.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.